

ИЗ КНИГИ "ОСТРЫЕ УГЛЫ" (2006 г.)

Кому-то – посох жизнь моя,
кому-то – камень преткновенья.
Кругом осколки бытия –
времен распавшиеся звенья.

Сердечко часиков стучит,
как будто в душу мне стучится,
о том, что больше ни в ночи,
ни днём со мною не случится.

Улыбку натянуть на боль
и снова – в бой с самой собою.
Звучит над нищею судьбой
клич памяти и зов любви.

Я слишком помню, чтоб забыть,
люблю, чтобы возненавидеть
то, что с годами не избыть
и не убить любой обиде.

Пусть ранят острые углы
и отсекают, как аппендикс,
но возродится из золы
цветаевская птица Феникс.

«Ещё не вечер» – не скажу уже.
Ещё не ночь. И каждый час всё слаще.
Но многое, что надобно душе,
жизнь отложила в долгий-долгий ящик.

Быть может, в тот, в который мне сыграть...
(Прости, читатель, этот чёрный юмор.
Я не хочу, о други, умирать,
как классик говорил, который умер).

«Две области – сияния и тьмы»
Бог примирит, перемешав, как соки.
Из известковой краски и сурьмы
родится вечер вдруг голубоокий.

Вот так бы примирить весь мрак и свет,
что борются в душе моей, стеная.
Из всех остроугольных да и нет
сложить «быть может», «кажется», «не знаю».

Вот так бы плавно жизнь свою суметь
направить между Сциллой и Харибдой.
О, сумерки... Смеркается... И смерть
вдруг снова подмигнула мне из рифмы.

Настало утро. Высь светла.
И жизнь играет туш.
А где же тьма? Она ушла
в потёмки наших душ.

Настанет темень – глаз коли.
А где же свет из дня?
Он там, куда уже ушли
все, кто любил меня.

Между смертью и мною
баррикады из книг,
из твоих поцелуев
и домашних вериг,

из стихов и из писем,
и цветов на столе,
от чего так зависим
каждый день на земле.

Но всё те же мы, те мы...
Лист в ладони дрожит.
Сочиненье на тему
«как провёл эту жизнь».

Я бросаю монету,
чтоб вернуться сюда.
Не войти в это лето,
только Леты вода

где-то тут, за спиною
достигает ушей...
Между смертью и мною
так немного уже.

Ни с орбиты ещё, ни с ума я
не сошла, и чумные пиры
принимаю твои, принимаю
и удары твои, и дары.

Распахнулись небесные вежды.
Ищет радуга встречной руки.
И надежды в зелёных одеждах
оживают всему вопреки.

Жизнь коротка, не ухватиться
за край, когда идёшь ко дну.
Не взвять, как зверь, не взмыть, как птица,
не кануть рыбой в глубину.
Но знаю истину одну:

с тобою вечный День Рожденья,
и Рождество, и Новый год.
Спасенье ты моё, везенье
и исцеленье от невзгод.
С тобою нет плохих погод.

Я поставила лишь на тебя одного,
у меня на земле никого, ничего.

Этот воздух ночной, этот свод голубой –
всё отныне заполнено только тобой.

Духи прошлого канули в Лету давно.
Ты – последняя ставка в моём казино.

Мой любимый и муж мой, отец мой и брат,
за тобою, с тобою – до облачных врат

по канату над бездной судьбе супротив
без страховки, гарантий и альтернатив.

Ты помнишь этот дождь, нас обвенчавший,
нам выпавший, как жребий, на пути,
как капля, переполнившая чашу,
что Бог не в силах мимо пронести?

С небес неудержимо, просветлённо
текла благословенная вода,
а мы, обнявшись, прятались под клёном,
и всё решилось, в сущности, тогда.

Казалось сквозь намокшие ресницы,
что в этой захлестнувшей нас волне
на всей земле нам некуда укрыться,
и я в тебе укрылась, ты – во мне.

Всё закружило, смяло, как в цунами –
стволы, зарницы, травы, соловьи...
И всё вокруг, казалось, было нами.
И на земле, казалось, все свои.

– Я руку тебе отлежала?
Твоё неизменное: – Нет.
Сквозь щёлочку штор обветшалых
просачивается рассвет.

– Другая завидует этой.
– А я – так самой себе...
Рождение тихого света.
Обычное утро в судьбе.

Жемчужное и голубое
сквозь прорезь неплотных завес...
Мне всё доставалось с бою,
лишь это – подарок небес.

Мы спрячемся вместе от мира,
его командорских шагов.

Не будем дразнить своим видом
гусей, быков и богов.

Здесь раньше чебуречная была,
в таком очаровательном подвале –
по Вольской до Казачьей, до угла,
где мы с тобой когда-то пировали.

Мой рыцарь, незнакомец, визави...
Как чудны были эти чебуреки.
Разрушена империя любви.
Мы не придём сюда уже вовеки.

Теперь здесь ресторан, который пуст,
поскольку никому не по карману.
А я всё помню аппетитный хруст
тех чебуреков нашего романа.

Мой город, я тебя не узнаю.
Ни улицы, ни воздух и ни души.
Мне страшен этот праздный уют,
где никому никто уже не нужен.

Мой город, ты стареешь от тоски.
Мы сами не свои под этим небом.
И вывески твои – твои виски,
как сединой, запорошило снегом.

Как будто Бог скрывает все приметы
и замечает прошлого следы.
Влюблённые, бродяги и поэты,
всё уже ваши нищие ряды.

Как мало остаётся тех прибежищ
для наших встреч, приютов и берлог...
Всё изменилось. Только мы всё те же,
и так же ищем сердцу уголок.

Нет уголков. И всё ж они несметны
на карте мира памяти моей,
не стёрты и воистину бессмертны,
как мы с тобой, любимый мой. Ей-ей.

Ты не умрёшь, сколь ни было бы лет.
Мне даже говорить об этом странно.
А слово «лет» рифмуется со «след»,
который снег залижет, словно рану.

Я не умею это понимать.
Я удержу расцепленные звенья.
Ты не умрёшь. Так в детстве просят мать.
Остановись, проклятое мгновенье!

В сырую ночь, где пусто и темно,
я не пущу тебя с твоей простудой.
Ты не умрёшь. Ведь мы с тобой одно.
Пусть все – туда, а мы с тобой – оттуда.

Поскрипывает мебель по ночам.
Я чувствую сквозь сон, что это мама.
И где ей быть? Здесь дом её, очаг.
Я верю в это сладко и упрямо.

Молчи, молчи, скрывайся и таи...
Кому расскажешь эту боль и счастье?
Любовь умерших в воздухе стоит
и охраняет нас от всех напастей.

Она во всём, что дышит и звучит –
в весенней трели, яблоневого цвете.
Слетают с неба шорохи в ночи,
бесследно исчезая на рассвете.

Всё не идёт из головы
звонок, что был на той неделе.
А в трубке словно ветер выл
и слышно было еле-еле.

Сначала ты кричал: «Алло!»,
пожав плечами: «Чья-то шутка?»
А я застыла за столом,
и отчего-то стало жутко.

Опять звонок. Я подхожу,
чтоб, наконец, поставить точку,
и сквозь далёкий гул и шум
вдруг слышу слабенькое: «Дочка...»

Ошибка? Продолжение сна?
Иль чей-то розыгрыш безбожный?
А вдруг возможно то, что нам
всегда казалось невозможным?!

Поверить в воскрешённый прах?
Слыть мракобесом и невеждой?
Но до сих пор во мне тот страх,
перемешавшийся с надеждой.

Этот дождь над твоей могилой,
неожиданный, как поцелуй...
Что хотел ты сказать мне, милый,
этим бурным потоком струй?

Ах, оставь, мол, свой пыл рабочий,
брось лопату и семена.
Вспомни дворик наш на Рабочей,
наши детские имена...

Я сначала была в досаде –
как не вовремя этот дождь!
Помешает моей рассаде,
весь участок травой заросш...

А потом поглядела в небо,
где ни облачка и ни туч.
Дождик шёл так светло и слепо,
пробиваясь сквозь солнца луч.

Моё сердце им было взято.
Он был родом из синевы,
из далёких шестидесятых,
из Данелиявской Москвы.

Так стремился к земле, так страждал,
словно мог, напоив листву,

утолить мировую жажду
по утраченному родству.

Что мне эта рассада, что мне...
Я услышала Божий глас.
Словно ты мне хотел напомнить
обо всём, что главное в нас.

Если очень тошно или больно —
ничего не требуй от икон.
Бог не слышит жалобы и мольбы.
Только благодарных слышит он.

Он свою божественную манку
на голову сыплет с высоты
тем, кто видит мир не наизнанку,
а его прекрасные черты.

*Я говорю с тобою, друг заочный,
на только нам понятном языке.*

В. Ходасевич

Души легко переходят границы.
Их разделить невозможно ни в жизнь.
Снова назад я листаю страницы
книги своей под названием «Жизнь».

Чаша души наполняется прошлым.
В царстве Сезама вскрывается дверь.
То, что казалось банальным и пошлым,
кажется милым, хорошим теперь.

Я рассекаю секунды, как волны,
властно вторгаясь в минувшие дни.
Воспоминаньями светлыми полны,
кругом спасательным держат они.

Вот ещё чуточку самообмана —
и достигаю заветной черты...
За пеленою ночного тумана
я различаю любимых черты.

Словно вслепую идёт опознание,
и повторяю, скорбя и любя:
«Помню тебя до потери сознания,
помню тебя, и тебя, и тебя!»

Если мы ищем – то, значит, обрящем.
Если мы любим – то, значит, живём.
Нет, вы не в прошлом, а вы в настоящем,
в будущем нерасторжимо моём.

Губы свежа виноградным и мятным, –
он никому из живых незнаком, –
я говорю с вами вам лишь понятным,
но непонятным другим языком.

Вновь завывают холодные зимы.
Нет на пути ни души, ни огня.
Всё я живу как-то жизни помимо,
в сторону сносит куда-то меня.

Но ни на пядь, ни на краешек малый
чёрному хаосу не уступлю
папу и бабушку, брата и маму –
всех, кого я и поныне люблю.

Я не чувствую слов – только то, что за ними, –
интонация, искренность, полутона.
Я не помню ни лиц, ни одежды, ни имя, –
только образ, всплывающий с мутного дна.

Как сомнамбула в мире живу виртуальном.
Не живу, а, вернее, слышу и плыву.
Для меня ирреальное только реально.
Лишь оно-то и держит меня на плаву.

В отчаянье или в беде, в беде...

А.Кушнер

Шагрень поэзии моей,
чем больше строк – тем жизнь короче.
Укрой, пожалуйста, согрей
тех, кто ещё согреться хочет.

И легче станет им в беде,
узнав, что есть в житейском море,
кто стыл на сумрачной звезде
и тоже плакал в коридоре.

Я в печку уходящих дней
подбрасываю хворост строчек.
И жизнь тем ярче, чем черней
вокруг... Чем ярче – тем короче.

Небо давит, как на атлантов,
подпирающих своды зря,
на безумцев, певцов, талантов,
на которых стоит земля.

Не желающим прогибаться
уготован один режим –
надрывать и убиваться,
но стоять, пока хватит жил.

Языка их не понимают,
только мёртвых их любит Русь,
но веки не обломает,
не сломает их мразь и гнусь.

Пусть их ждёт пустота и небыль,
пусть их выбор смешон, нелеп,
но они лишь удержат небо,
не сменявши его на хлеб.

В прошедшем веке куплено пальто.
Ремонт уже не делался сто лет.
Есть жизнь на Марсе – ведает ли кто?
Но здесь-то точно жизни вовсе нет.

Коль ты поэт – а стало быть, слабак –
в жилетку строк выплёскивай нытьё.
Собачья жизнь отнюдь не для собак.
Они бы и не вынесли её.

С упорством мухи, бьющейся в стекло,
я начинаю утром путь земной
судьбе назло, самой себе назло,
с другой строки и с буквы прописной.

*Мой Дон-Кихот! Готовы латы
и Росинант копытом бьёт!
И снова в бой пойдёшь одна ты,
чтоб мельниц прекратить полёт.
Они огромны и скрипучи,
ты одинок и очень мал.
И воронья слетятся тучи,
чтоб посмотреть – каков финал?*

В. Соколова

Финал предсказуем.

Н. Куракин

Ваш прогноз рановато выдан,
а надежды равны нулю.
Не терплю я ни свор, ни быдла,
и фиаско я не терплю.

Как все мыслящие инако,
я выламываюсь из рядов,
одинок – но не одинака –
среди заткнутых кляпами ртов.

Просто я из другого теста,
не мякина и не эрзац.
Я не вписываюсь в контексты,
не укладываюсь в абзац.

Красной тряпкой я вас ярила,
поднимая газетный шум,
раздражитель ваш и мерило
и – чего там! – властитель дум.

Сколько лет надо мною вьётесь
тучей жадного воронья.

Но финала вы не дождётесь.
Это вам обещаю я.

Поэту не внимал народ.
Куда ни глянь – мордovorот.
Таков уж род земной.
Поэту всюду укорот.
А если кто и смотрит в рот –
так только врач зубной.

Я видел звёзды!
Ф. Г. Лорка

Муравей, который видел звёзды,
для собратьев – лодырь и отброс, –
те не знают, что такое роздых
и стрекоз гоняют на мороз.

Муравей, который видел звёзды,
не чета всем прочим муравьям,
тем, что рождены по норам ползать
среди мхов, валежников и ям.

Пусть он никогда не взмoет в воздух
и его ничтожен силуэт, –
муравей, который видел звёзды, –
это уже, в сущности, поэт.

Героизм бессребренных стрекоз.
Мотыльков безумных суицид.
За существования наркоз
вдруг тебя охватывает стыд.

Телевизор, стол, плита, кровать –
наши траектории пути.
Жизнь на полуслове оборвать,
если дальше некуда идти.

Как колдует вечер-чародей,
перед тем, как сгинуть в никуда!

А твоя нежизнь средь нелюдей...
М-да-а.

Куда ни глянешь – сырость, слякоть...
Художник из небесных врат
уныло принялся малякать
пейзаж, рисованный стократ.

О, эта чахленькая серость,
непобедимая вовек,
всё дежа вю, копирка, ксерокс...
Как «Волга – XXI век»,

где мельтешенье графоманье
напоминает ту же масть –
всё в тусклом сереньком тумане,
и взгляду не на что упасть.

Прочтёшь, начнёшь опять сначала,
и повторится та же муть.
От строчек, вязких, как мочало,
мир не изменится ничуть.

Не в силах вынести это долго,
пойду на волжский берег я.
Насколько ты свежее, Волга,
чем тёзка дохлая твоя!

На лекции в библиотеке –
в каком году уже бог весть –
где говорила я о веке,
что думаю и всё как есть,

сказала женщина, вздыхая,
кому-то тихо обо мне,
(хоть память у меня плохая,
но фразу помню ту вполне):

«О, как она срезать не может
беседах острые углы!

Как трудно будет жить ей, боже,
ведь люди мстительны и злы...»

Когда – чтоб не казалось мало –
мололи жизни жернова,
я очень часто вспоминала
той мудрой женщины слова.

Сейчас от молодого пыла
осталась горсточка золы...
Да, никогда не обходила
я эти острые углы.

Я не умела лгать улыбкой
и сглаживать горячий спор.
Быть обходительной и гибкой
не научилась до сих пор.

А жизнь всё пробует на ломку
и забивает мне голы.
Но не стелю себе соломку,
хоть больно колются углы.

Но не ищу я в реках броду
и не влечёт меня нора.
Я тоже в некотором роде
и угловата, и остра.

Пускай они меня обходят,
в свои играя уголки.
А я привержена свободе
и буду шпарить напрямки!

Деспоты не любят диспутов.
Если ты не тварь и тля –
неустанно и неистово
вырывай из горла кляп.

Смертный грех – чегоугодие.
Не переступи межу.
Богу одному – свободе я
поклоняюсь и служу.

Но куда податься, братцы, мне?
где луч света среди мглы?
Глупы и нелепы Чацкие,
а Молчалины подлы.

Софьи выберут Молчалиных
в президенты и в мужья.
Остаётся лишь в отчаяньи
застрелиться из ружья.

В книжном магазине

Распространяя запахи духов,
она брезгливо книжки ворошила.
И продавец ей сборничек стихов
моих неосторожно предложила.

Она, не пролистнув и полглавы,
отбросила его к едрене-фене:
«Но это же всё классика, увы.
А мне бы что-нибудь посовременней».

А я, там оказавшись в тот момент,
вдруг ощутив себя премного выше,
подумала: «Вот это комплимент!
Не всяк при жизни эдакое слышит».

В автобусе мне место уступили.
Галантный тон. Усы и борода.
– Как женщина еще я, значит, в силе, –
так сладко мне подумалось тогда.

Но после вдруг сомненья подступили
и отравили сладость лебедой:
как женщине его мне уступили
или как женщине немолодой?

Прекрасная Дама любила другого.
(Любой рядом с Блоком был смерд!)
То Белого, то арлекина-Чулкова,
а после был паж Дагоберт.

Остались записки стареющей Любы,
где строки, бесстыдством светясь,
взахлёб рисовали объятия, губы
и всю их преступную связь.

«Я сбросила всё и в момент распустила
блистательный полог волос.
Какая была в нём порочная сила,
какая любовная злость!

Согласие полное всех ощущений,
экстаз до беспамятства чувств...»
Дословно почти, без преувеличений
цитирую с авторских уст.

Промолвила с грустью Ахматова Анна,
прочтя, что попало в печать:
«Ах, ей, чтоб остаться Прекрасною Дамой,
всего только бы промолчать...»

Виктор Третьяков

Когда менты, скрутив его легко,
тащили вон, кричал он в это быдло:
«Запомните! Я – Виктор Третьяков!
Когда-нибудь вам будет очень стыдно!»

Никто не стал запоминать тогда.
Какой-то бард, мальчишка, чуть за двадцать.
Ведь не скрипач известный, не звезда,
чтоб в ресторане стали с ним считаться.

Мне Третьяков был хорошо знаком.
Он даже был однажды нашим гостем.
Мы ели осетрину, а потом
он ненадолго подавился костью.

Бежали на вокзал во весь опор...
(Билет на поезд. Засиделись слишком).
Но это уж отдельный разговор.
(Я всё это описывала в книжке).

Так вот, прошло пятнадцать с чем-то лет.
И снова – Третьяков, но в новой роли.
Он – на коне! С иголки одет,
весь в белом – и опять к нам на гастроли.

Он – победитель конкурса «Шансон»,
и публика рвала его на части.
А девушки писали в унисон:
«Мне Ваши песни – как минуты счастья!»

Играючи, он струнами бренчал.
Он пел и пел – мессия, бог, маэстро!
И на вопросы зала отвечал,
что он не помнит прошлого приезда.

Жива ль ещё была обида в нём?
Казалось, инцидент давно забыт, но...
И мне за тот неласковый приём
одной за весь Саратов было стыдно.

Своей жизни несчастной виновники
и ответчики за грехи,
мне читают стихи уголовники,
и глаза у них так тихи.

Пальцы треплют листок тетрадный
и улыбка – где был оскал.
Словно лица их добрый сказочник
на мгновение расколдовал.

И казалось мне – в той обители,
где суров и насильствен кров,
нет мошенников и грабителей,
нет насильников и воров.

Мы – другие? А вы уверены,
если честно взглянуть назад?
Всем нам жизни срока отмерены,
все ответим мы за базар.

Всё – случайности, всё – условности...
Я их слушала, не дыша.

И к презумпции невинности
молчаливо взывала душа.

Серьёзный мальчик, строгий музыкант,
насупленный и смотрит исподлобья.
Что зреет в нём? Неслыханный талант
или его лишь жалкое подобье?

На музыку он хочет положить
мои стихи из прошлогодней книжки.
Он только-только начинает жить,
и отчего-то жалко мне парнишки.

Он изучает вдумчиво стихи.
Они его волнуют, мучат, дразнят.
Неведомы ещё ему грехи
любви жестокой, казнь её и праздник.

Расспрашивает: «Девушка она
иль женщина?» – «Но разве это важно
для музыки?» – «Конечно». А весна
за окнами пьяна и эпатажна.

Так сладок воздух... «И ещё вопрос:
она его в итоге разлюбила?»
О, мальчик мой, ещё ты не дорос
до музыки, её стихийной силы,

коль спрашиваешь... Но придёт пора,
нахлынут с неба запахи и звуки,
уча и муча с ночи до утра
безжалостной и сладостной науке,

и ты напишешь пальцами в крови
то, что из сердца выплеснется в дрожи...
Ведь музыка, как Муза, без любви
к нам не приходит, мальчик мой хороший.

*Никому чужая тайна не в подмогу,
никому и щедрость опыта не впрок,
и никто не заберёт с собой в дорогу
этой памяти-прапамяти мешок.*

И.Лиснянская

... и в них – вся родина моя.

В.Ходасевич

Неудачница высшей марки,
виноватей которой нет,
всё горит во мне твой неяркий,
неприкаянный тихий свет.

Напеваю стихи, как песни.
Твой портрет изучаю я.
Взгляд раскосый. На пальцах перстни.
Чёлка чёрная, но своя.

Не ахматовская надменность,
не цветаевский беспредел,
но негромкая сокровенность
и смиренность принять удел.

Недотёпа и отщепенка,
самолюбия – ни на грош,
но ведь знаешь, твои нетленки
столько душ повергают в дрожь!

Все поэты – единоверцы.
И давно уж в мешке моём
память прошлого, тайны сердца –
всё, что родиной мы зовём.

Историю эту однажды в письме
прислала знакомая женщина мне.
Я бегло хотела его просмотреть,
но что-то задело и трогало впредь.
И слёзы всегда подступали к лицу,
когда то письмо подходило к концу.
Вот эти бесхитростных пара страниц:

«Мы с ним познакомились в мире больниц.
Впервые такой настоящий был друг,
и чувства откуда-то выросли вдруг.
Он умер в Аткарске у дальней родни.
Туда добиралась я долгие дни –
на кладбище, где не остыл его след...
Он снится мне вот уж одиннадцать лет.
То мчусь я к вагону за ним напролом,
а он остаётся один за стеклом.
То вдруг он вдали померещится мне
и тут же растает, как снег на окне...
Однажды иду я с работы домой.
Кругом всё бело – это было зимой.
И я на заснеженных крышах машин
ему написала слова из души.
Увидит ли с неба мой Мишка привет?
Пришлёт ли он мне хоть какой-то ответ?
И тут вдруг взревел на машине клаксон...
Я знала: то он ко мне рвётся сквозь сон!
Машина рванула в лихом вираже.
Я шла и светло было мне на душе...»

Родная душа. Как нам мучает кровь
с движением односторонним любовь,
когда не отнять, не оттаять уже...
Но взмоет душа на лихом вираже,
и в небе сверкнёт ей, себя не тая,
бессмертная, Мишка, улыбка твоя.

Н.С. Мозуевой

Дорогая Нина Сергеевна,
я пишу Вам теперь туда,
где душа Ваша, в ночь развеена,
тихо светится, как звезда.

На могиле трава колышется.
Дни бегут своей чередой.
Мне из писем Ваш голос слышится,
удивительно молодой.

Как мечтой в небесах парили Вы,
сердцу верили, не словам.
Вы когда-то цветы дарили мне,
а теперь я несу их Вам.

Где же тот, кого так любили Вы,
получил ли он злую весть?
Как мне горько сказать, что были Вы.
Но я счастлива, что Вы есть.

Берегите свою душу.
(Из письма Н. Могуевой)

«Берегите же душу!..» О, я берегу,
для себя – не загробного рая.
Я её не позволю запачкать врагу
и предательством не замараю.

И хотя я не ангел и не эталон
и порой нарушаю зароки,
я себе запретила поклон и уклон
вправо-влево от главной дороги;

быть в согласии с тем, кто, собой упоён,
от любви к сверхдержаве зверея,
вожделеет о благодати старых времён
и о сильной руке брадобрея.

У души я на службе и на поводе,
на подхвате и на побегушках.
Я пляшу под волшебную эту дуду,
что играет мне тихо на ушко.

Чтоб была в стороне от наживы и зла,
я её проверяю на деле.
Чтоб всегда пребывала чиста и бела,
белоручку держу в чёрном теле.

То под ноги стелю ей себя, как пальто,
то терзаю, учу и муштрую,
оттого, что нигде, никогда и никто
не подарит мне душу вторую.

Берегу – это значит держу в чистоте,
нежу, холю, кормлю и лелею,
но при этом ничуть, никогда и нигде
для того, что люблю – не жалею.

Трачу, трачу без удержу душу свою
и стараюсь во всём быть ей ровней.
Чем я больше кому-то её отдаю,
тем светлее она и огромней.

Я её не одену в броню и гранит,
не упрячу от боли и гнева.
Ну а если она кровоточит, саднит –
это значит, не закаменела.

Бывший друг обернулся врагом.
Не хватает дыхания в лёгких.
Был он близок, а стал незнаком,
променяв твой приветливый дом
на лохань чечевичной похлёбки.

Песнопенья молчат голоса.
Не врачуется дух мой болящий.
Память прежнего ставит впросак,
и как будто двоится в глазах:
так когда же он был настоящий?

И сместились понятия вдруг
из разряда простых и привычных,
размыкая незыблемый круг.
Будь здоров, мой отъявленный друг.
До свиданья, мой враг закадычный.

Пусть тебе ещё раз повезёт
встретить дом среди грязи и блуда.
Как тебе? Не знобит? Не трясёт?
И раскаянье грудь не грызёт?
О, тебе далеко до Иуды!

Как Станиславский скажу: не верю
ни Богу, ни человеческому зверю,

если друг – и такое смог,
оказавшись душою убог.
О чём молятся палачу?

Как ту рану я залечу?
Я одного лишь сейчас хочу, –
прочь отринув все образа
и стихотворный слог,
просто спросить, глядя в глаза:
– Как ты мог?!

Свеча не горела. Горела, действительно, люстра.
И это было совсем не такого характера чувство.
Оно было просто, буднично и безыскусно.
Хотелось утешить, подбодрить и накормить тебя вкусно.
Хотелось помочь, предостеречь, направить.
Теперь уже ничего не поправить.
Свеча не горела.
Она была бы совсем неуместна.
Но как душа за тебя болела,
не находила места.
Кто-то из мудрых сказал:
«Я верю только тому, кто тонет».
А ты не понял во мне ни аза,
ты так ничего и не понял.
И ведь не Иуда, не какой-нибудь там
Чикатило, –
всего лишь поверивший тем котам-скотам
Буратино.
Купившийся, польстившись на то, что блестит...
Грустная сказка.
Но жизнь когда-нибудь ставит на вид
и срывает маску.
Снимает с глаз пелену, заслон,
и ищешь – где он?
А этот – в ангельских ризах – слон
из мухи сделан.
«Что было после – было зря».
Живи как знаешь, какое мне дело.
Свеча сгорела, не горя.
Перегорело.

Разбей этот кубок...
А. Фет

А был ли мальчик? Что Гекубе
его фантом?
Что зыбилося в душевной глуби –
покрылось льдом.

Погиб поэт. В моих глазах лишь,
но что с того?
Где чудилась алмазов залежь –
нет ничего.

Разбился кубок. Если даже
его слепить –
я никогда из этой чаши
не стану пить.

Но жаль того огня...
А. Фет

Жизнь движется вперёд, обозначая вехи.
Не жалко мне тебя, не жалко и себя,
а жаль того огня, что в ночь ушёл навеки,
однажды озарив, согрев и ослепя.

Над головой твоей как нимб сияло Слово.
Но случай вырвал вдруг три тонких волоска,
и оказалось, что обман, корысть и злоба –
где виделись беда, обида и тоска.

Ты из чужих краёв, ты из другого теста.
Рассеялся туман, развеяна волшба.
Зияет как провал теперь пустое место,
где чудились миры, и правда, и судьба.

И стала вмиг ясна вся низость голых истин.
Все факты собрались и выстроились в ряд.
Лежат твои листки, как груда мёртвых листьев
и ничего душе уже не говорят.

Просвет между землей и небесами сужен
благодаря тебе. Спасибо за урок
не отворять дверей, не греть чужому ужин,
не верить, не дарить... Надеюсь, что не впрок.

Я стискиваю лоб, зажмуриваю веки.
Я постараюсь быть, хоть не осталось сил.
Прощаю за себя. Но не прощу вовеки
за тот огонь и свет, который ты убил.

Сейчас, пытаюсь проиграть
то, что уже невозвратно,
я думаю: какая рать
иных дорог промчалась мимо.

Что, если б первая любовь
сказала «да», притёрлась, свыклась, —
меня учила бы свекровь
выращивать свеклу и тыкву.

И в доме был бы лад да мир,
по праздникам бы пели хором...
И отгорожен был бы мир
глухим хозяйственным забором.

А если б я сказала «да»
редактору отдела писем —
о, как он звал меня туда! —
как был бы мир сейчас зависим

от властьдержательных монет,
союз-писательских убожеств...
А если б этот... боже, нет!
Иль тот... О нет, избави боже!

Спасибо всем, кто обманул,
кто не ответил, предал, продал,
отвергнут был иль оттолкнул,
иудам, иродам, уродам,

спасибо, что в моей судьбе
вы все, друзья, не состоялись,

ведя меня к самой себе,
душе в угоду, вам на зависть;

что жизнь, не злобясь на удел,
я прожила, как я хотела,
не разделяя слов и дел,
не отделя души от тела.

Спасибо всем, кто отпустил,
что шла я по своей дороге,
за то, что я на том пути
нашла любовь свою в итоге.

Прошлое совершенно,
ибо совершено.
Будущее страшенно
иль приукрашено.

То, что ещё прибудет –
кровью души изойдёт.
Будущего не будет.
Прошлое не пройдёт.

О стрелок перевод назад!
Какой соблазн душе,
тщета отчаянных надсад
вернуть, чего уже

нам не вернуть... Но – чудеса! –
замедлен стрелок ход.
Ах, если бы ещё назад
на час, на день, на год...

Не в жизни живу, а, скорей, в метафизике,
как все фантазёры, поэты и шизики.
Все беды земные художнику впрок.
А жизнь – это повод для нескольких строк.

Побудем собой. Это так ненадолго ведь.
Ну сколько мы души держать будем впроголодь?

Не водится счастье на торных путях.
А смерть – идиома, формальность, пустяк.

Когда идёшь по улице моей
до самого конца автостоянки,
где дом стоит без окон, без дверей,
за ним – пустырь, разбросанные склянки,
застывший кран, забывший, кто он есть,
канав непросыхающее русло,
забора покосившегося жечь
и фонари, мигающие тускло, –
такой метафизический тупик...
Так странно здесь, и жутко, и нелепо.
И показалось мне в какой-то миг,
что это образ или даже слепок
моей тоски... Иль мировой души.
Представьте только: мёртвый остов дома...
Провалы стен... Вой ветра... Ни души.
И ты идешь, как будто кем ведома
на этот обольстительный пустырь,
в клоаку смерти, сердцевины ночи...
Но Линда, мой собачий поводырь,
идти сюда отчаянно не хочет.
Она переминается, дрожит
и тянет прочь меня, как в лихорадке...

Опять моя фантазия блажит.
На самом деле всё пока в порядке.

Нехитрые новости дня моего:
Рембо наконец прочитала всего,
акация зазеленела в окне,
и мама во сне приходила ко мне.

Сварила картошку, компот, голубцы.
С деньгами свела еле-еле концы.
Ответила позже на чьё-то письмо.
Грустила, себя изучая в трюмо.

Жировка пришла за квартиру, за газ.
А день незаметно всё таял и гас.
Когда от него лишь остался вершок,
стишок сочинила на посошок.

День умирает молодым.
Он хочет жить и длиться,
но тает, тает, словно дым,
переливаясь в лица,

в деревьев смутный силуэт,
домов размытый абрис.
С земли уходит белый свет,
не сообщая адрес.

Он исчезает в небесах,
всё дальше и слабее,
лишь кое-где в пустых глазах
прохожих голубея.

Забинтована снегом земля января,
но любовь, словно кровь, проступает, горя,
и твой взгляд беззащитный надёжней хранит,
чем могильные плиты, надгробный гранит.

Моё время прошедшее, ты не прошло,
но впечаталось и семенами взошло.
Ты во мне каждой клеткой своей прорастёшь.
Ты теперь никуда от меня не уйдёшь.

*Завидуешь мне, зависть – это дурно...
Б.Рыжий*

Я на чужой удел не зарюсь,
хоть бьюсь, как волны среди скал.
Но – что же это? Зависть, зависть.
Я узнаю её оскал.

Чему? Рукоплесканью залов?
А ночи с лампой напролёт?

Любви, что я всю жизнь искала?
Иль первой книжке в сорок лет?

Держать в груди такого змея,
чтоб душу заливало тьмой...
Но вот чего я не умею –
так то завидовать самой.

Чего бы я ещё хотела –
спрошу себя, как на духу –
иметь бы для души и тела,
подобно тем, кто наверху?

Меня не тянет в эти бары,
к игорным ставкам и крупье.
Мне чужды бары-растабары
о ресторанах и тряпье.

Смешны салоны, где блистают,
и мне не нужно, видит Бог,
ни дач, ни шуб из горностаев,
ни сногшибательных сапог.

Я никогда бы не сумела
себя под это подверстать.
Иного не хочу удела –
он мне по духу и под стать.

Он крест мой и моя награда:
мой дом, мой стол, мое окно...
Я одного боюсь: утраты
того, что было мне дано.

Порой пронзит ночами ужас:
не надо ничего взамен!
О Господи, не сделай хуже,
не дай мне, Боже, перемен.

Оставь мне, Господи, всё то же.
Продлись, прелюдия конца.
Грядущее, не дай мне Боже
увидеть твоего лица.

В кофейной ли гуще, в стихах, во сне
увидится некий бред –
повсюду грядущее кажет мне
уайльдовский свой портрет.

Я кофе давно растворимый пью
и часов замедляю ход,
но вновь наступает на жизнь мою
непрощенный Новый год.

Меж прошлым и будущим – пять минут.
Застыло на миг бытиё.
И бездне страшно в меня заглянуть.
Страшнее, чем мне – в неё.

Когда включаю телевизор
в надежде отыскать гуру,
кручу каналы: вздор и мизер,
и вдруг от ужаса замру.

С экрана вижу в час вечерний
иль даже среди бела дня
сущств диковинных, пещерных,
непостижимых для меня.

Я вижу залы, стадионы
охочих до пустых утех,
распятых глоток легионы,
идиотический их смех.

И жутко мне при виде корма
погрязших в бездуховной мгле.
Какая-то иная форма
существованья на земле!

О, вы, уроды и юроды,
чей ум трудиться не привык,
вы существа другой породы,
мне непонятен ваш язык.

А где-то, верно, есть другие,
которым испокон веков
порывы ведомы благие
и шифры писем и стихов.

Но где они? Какие визы
нужны в их дивные миры?
Их не покажет телевизор.
Мы в этом мире вне игры.

Всё та же синь, всё та же цветь
весеннего куста,
всё та же жизни круговерть,
да я уже не та.

Как стрекоза, совету вняв,
отпел своё, пляшу.
Уже я не на злобу дня –
на ужас дня пишу.

Я вырвусь за эти страницы
ещё не написанных книг,
за эти тиски и границы
режимов, орбит и вериг,
из ряски, не ведавшей риска,
в миры беззаконных комет,
куда мне и ныне, и присно
ни хода, ни выхода нет.

История – истерика времён,
что убивает медленно, но верно.
Мир не для тех, кто тонок и умён.
Не для поэтов, не для слабонервных.

Сидят вожди в чертогах золотых,
крутые, но пологие по сути.
Не ведает отныне чувств шестых
шестая пядь, погрязнувшая в блюде.

Где был барак – теперь царит бардак.
Казармы перестроены в бордели.
Как будто стёр безжалостный наждак
всё, чем владели и о чём радели.

Страна рабов, не чующих страны
среди рекламных сникерсов и чипсов.
Страна воров, разграбленной казны,
распроданных садов, забытых Фирсов.

Соблазн Рембо: поэзию презреть,
уйти в торговлю, на далёкий остров...
Корабль пьян. Оставшийся на треть,
он по волнам несёт свой мёртвый остов.

Закройте ваши души на засов.
Когда уходит из-под ног земное –
уж не до белых–алых парусов,
спасти б своё судёнышко, как Ною.

Куда ж нам плыть? Где выход, лаз, отсек?
О, никогда я не пополню стадо
в любви тебе клянущихся навек
и знающих, как надо и не надо.

Души с рассудком нескончаем спор.
Пустыня, как всегда, не внемлет гласу.
Стучит в сердца Лопухинский топор,
как пепел незабвенного Клааса.

Земле глядеться в зеркала небес,
а небесам – в её жилетку плакать.
Кто повенчал их – ангел или бес?
Небесный дождик плюс земная слякоть

равняется любовь. А дети – мы:
растения, деревья, люди, звери.
«Две области – сияния и тьмы»...
Какой из них судьбу свою доверю?

Земная залежь, скопище веков...
Она всё знает, впитывает, помнит.

А небеса сияют высоко,
и с ними так бездумно и легко мне.

Земная почва, правда жизни, плоть –
груба, тяжеловесна, близорука.
А небеса, что даровал Господь,
так на руку душе. Как сон, что в руку.

И в затрапезной шапке-невидимке,
в которой не замечена никем,
сквозь города знакомые картинки
я прохожу беспечно налегке.

Не прохожу – скольжу бесплотной тенью,
ступенек не касаясь и перил,
не приминая травы и растенья,
не отражаясь в зеркале витрин.

Грань между тем и этим светом стёрта.
Никто нигде не нужен никому.
Как мир живых похож на царство мёртвых,
но это всё неведомо ему.

Я вижу всех – меня никто не видит.
Как странно хорошо идти одной,
неуязвимой боли и обиде,
неузнанной, незванной, неземной.

Я не выйду на сцену с поклоном
и растаю во мраке кулис.
Исполнять я не стану, как клоун,
лебединую песню на бис.

Что хотела – я вам прокричала
в пустоту уходящего дня.
Мой «Титаник» уходит с причала.
Вот и всё. Вспоминайте меня.